

18+

АЛЕКСЕЙ РАТУШНЫЙ
ЛАРИСА ПОРФИРЬЕВНА
РАТУШНАЯ

ЭТЮДЫ И СТИХИ МОЕЙ МАМЫ

«МЫ ЖИЛИ НЕ ЗРЯ!»

Алексей Ратушный

Этюды и стихи моей мамы.

«Мы жили не зря!»

«Издательские решения»

Ратушный А.

Этюды и стихи моей мамы. «Мы жили не зря!» / А. Ратушный —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-514839-1

Это книга объединяет мамину прозу, мамину поэзию и мои о ней воспоминания. В энциклопедическом словаре Уральских писателей мы — единственные — изображены вместе. Мы с мамой прожили на планете вместе пятьдесят два года! Вот в пятьдесят втором я и родился. У этой книги нет аналогов. В Этюдах мама описала Гулаг. Но это не перечисление ужасов! Это книга о Первой любви! Каждый раз, когда мы расставались, мы обнимали друг друга и шептали: «Мы жили не зря!» Книга содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-00-514839-1

© Ратушный А.
© Издательские решения

Содержание

НАЧАЛО	9
ТЮРЕМНЫЙ БЫТ	10
НОВЫЙ ГОД В КАМЕРЕ	12
СУМАСШЕСТВИЕ	13
ПЕРЕСЫЛЬНАЯ ТЮРЬМА	15
ЭТАП И ЛАГЕРЬ	16
ЗОНА	17
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Этюды и стихи моей мамы «Мы жили не зря!»

Алексей Ратушный
Лариса Порфирьевна Ратушная

© Алексей Ратушный, 2020

© Лариса Порфирьевна Ратушная, 2020

ISBN 978-5-0051-4839-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Бабушке, Роне, Мише и моей прекрасной маме

2018-ый – год Памяти

100 лет левозсеровского мятежа и работы деда в ЧК с Ф. Э. Держинским

90 лет со дня рождения мамы

80 лет с момента ареста её отца

70 лет с начала реализации плана мамы

55 лет с момента смерти Роны

50 лет как нет её мамы и моей бабушки

Насколько Женщина умнее Мужчин?

Моя мама была гениальна!

Её план был, бесспорно, гениален!

Только вдумайтесь!

В 1946 году она начинает готовиться к походу «за отцом»!

Отец в семье был «всем»!

Абсолютно всем!

Абсолютным абсолютом!

Бесспорным авторитетом!

Главой Семьи!

Во всех мыслимых и самых немыслимых вопросах!

Он полностью обеспечивал семью жильём, питанием, средствами к существованию, деньгами, транспортом, информацией!

Не было вопроса, на который бы он не знал ответа.

Не было мелочи в жизни, которой он не уделял бы необходимого и достаточного внимания!

Он поселил семью в центре гигантского Киева, в трехстах метрах от Сенного рынка! В двух маленьких кварталах от дома, где реально вырос Михаил Булгаков.

Нет, о Булгакове они практически ничего не знали.

Но он привёз их на Урал в Екатеринбург и поселил в четырёх кварталах от дома Павла Бажова. С Бажовым отец дружил.

И Павел Петрович подружился со старшей дочерью писателя и журналиста.

Для своих детей папа был именно писателем и журналистом.

Про литературу он знал практически всё.

Особенно про русскую литературу.

И про украинскую.

Ещё бы!

Он работал рядом с Сергеем Есениным.
Он корректировал наборы великих русских книг.
Он был лично знаком с самыми значительными фигурами победившей социалистической революции.
Он был собственным корреспондентом газеты «Труд» по Уралу.
Он был техническим редактором гигантского издательского дома.
Ответственным выпускающим «Магнитогорского рабочего».
Он был великим авторитетом.
А в 1937-ом году стал победителем Всесоюзного литературного конкурса!
Первое место не присуждалось при Сталине никому.
Потому что все понимали, что первого места заслуживает в стране только один писатель.
Дед получил Вторую премию.
Он устраивал всему двору – а это три сотни жильцов! – Новогоднюю Ёлку для детей, которая прямо в центре этого двора и ставилась.
А ещё одна Ёлка традиционно украшала жилище отца.
А потом была ночь с 27-го на 28-ое января 1938-го года.
Папу арестовали и увели.
Была одна записочка на папиросной бумаге.
И больше никакой связи.
Никакой информации.
И семья догадалась: «без права переписки».
Были предположения и похуже, но без подтверждений.
Мама и брат и старшая сестра ждали его возвращения.
Семью сразу начали выселять и почти выгнали на улицу.
Но мама нашла какого-то гениального адвоката и потом шила его семье до конца своих дней.
В итоге семью урезали в жилой площади но оставили в покое.
Наступили тяжелейшие годы войны.
Война добавила уплотнения – в семье поселилась эстонка, несчастная жертва политики переселений народов, в доме прибавилось жильцов в полуподвале и в огромном коридоре.
Но война ослабила репрессивное давление Системы и спасла семью от тотального уничтожения.
А потом пришла Победа.
Мама сразу после ареста отца поступила на курсы продавцов, нашла себе работу и проработала с полной отдачей до получения инвалидности двадцать лет.
Старшая сестра имевшая порок сердца от рождения, за войну получила второй и сразу после трудоустройства в зоопарк – третий, после нападения тигрицы. Младший брат подделал справку и добавив себе год и класс школы – он закончил шесть, но написал «семь» – поступил на курсы землемеров и после того уже нигде более не учился а стал работать помощником маркшейдера. В общем семья ждала отца.
Тема эта была в семье запретна.
Мама научила всех троих помалкивать.
Чтобы тоже не увели в ночь люди в неяркой форме.
И вот в 1945-ом году она – семнадцатилетняя! – взяла сборник рассказов и очерков отца от 1937-го года, нашла в нём очерк «Капля крови» и собственной кровью написала прямо на странице этой уникальной книжки клятву найти отца!
И построила план!!!
Только сейчас, спустя семьдесят лет, я – её сыночек – смог наконец разобраться во всех деталях этой невероятной операции «Ы»!

Что необходимо было сделать, чтобы точно отыскать сидящего неведомо где отца?
Для этого, поняла она для себя, надо СЕСТЬ в тюрьму!
Попасть на зоны!
А там через «сарафанное радио» его искать и найти!
И добраться!
И выволить на волю!
Но ведь если фамилии совпадают и из личного дела видно, что они родственники – Система не позволит им оказаться рядом друг с другом!
Значит придётся сменить и «выходные данные» и биографию, то есть возраст, место проживания, образование!
Сам папа был революционером и конспиратором.
Кое-что дочуркам он успел поведать.
Не из тюрьмы, а из опыта дореволюционного.
Так что сама «техника» была немного известна и как бы применена.
Продумано всё было до мельчайших мелочей!!!
Надо сесть не в Свердловске!
Садиться надо поближе к папочке.
А где он сам – великий папа?
Ну конечно же в столице!
А где ещё могут держать столь великого писателя?
И она едет в Москву!
С чужим удостоверением личности, с чужой справкой об образовании.
Так она становится жительницей Москвы, Федотовой Михайлой Дмитриевной!
Но про тюрьму она знает многое такое, что обычно упускается из виду.
Но ей не до шуток.
Она его найдёт и выволит!
А потому подготовка идёт капитальная!
Она пристраивается к театрам, потому что ей предстоит сыграть много ролей. Много и очень разных.
А ещё ей предстоит подготовиться к самым ужасным ситуациям в тюрьмах и зонах.
А что там самое ужасное?
Голод?
К этому их прекрасно подготовила война.
Холод?
Это она тоже уже знает.
Пытки?
Избиения?
Во дворе в драках она закалена.
Она ничего не боится, кроме одного.
Кроме того, чего больше всего боится любая девушка.
Значит надо подготовиться и к этому ужасу и преодолеть.
Это она делает уже в Москве, выбрав «подходящего партнёра».
Всё!
Она готова!
И она идёт на улицу и сторожит машину.
Важно, чтобы её поймали «на месте преступления».
Чтобы срок был достаточный, но не самый большой.
И ни в коем случае не «политика».
Это был фантастический, гениальный, невероятный по дерзости план!

Он весь был построен на предположении, что отец ТАМ и ЖИВ.

А его расстреляли еще 15-го мая 1938-го года.

Если верить справочке от 1991-го года.

Но до этой справочки нужно было ещё дожить, и вопрос не снимался даже ею – а можно ли вообще верить хоть одной справочке такого государства?

Вот вам пример.

В самой этой справочке сообщается, что в справочке от 1956-го года государство, мягко говоря, солгало!

Впрочем тогда, в 1948-ом году и до справочки от 1956-го года нужно было еще дожить!

Мама реализовала свой замысел до конца!

Она не только попала туда, куда направлялась!

Она перемещалась по зонам!

Уже на Колыме она попала в концертную бригаду и с нею практически объехала ВСЕ зоны, все основные лагеря Колымы!

У нас дома много лет висела на стене карта Магаданской области.

Сейчас я понимаю, что это не просто карта, а карта памяти о периоде моего внутриутробного развития!

Мама не смогла найти своего отца потому, что его просто уже не было на свете.

Он жил в израненном пороками сердце её старшей сестры – Роны.

Он жил в душе их младшенького – Миши.

Он жил в её уставшем сердце.

Но отца она всё-таки нашла.

Не своего.

Моего.

И найдя, вышла на свободу сама и вытащила на свободу его.

Эта история ещё ждёт своего гениального писателя.

А план!

Женщины – они бесспорно умнее многих Мужчин!!

План мамы был гениален!

Ратушная Л. П. Этюды о колымских днях // Урал. – 1999. – №7. – С. 107—135.

Что это? Повесть? Рассказы? Эссе?

Или это мемуары?

Но ведь мемуары обычно пишут известные люди. Кому интересна молодость обычного, ничем не примечательного человека? А может быть все-таки интересна именно тем, что и у непримечательных людей молодость всегда богата событиями. Или может быть это кусочек истории страны? Потому что я – только песчинка в море тех, кто провел молодость на Колыме и не по своей воле. Но мне выпала радость полюбить и быть любимой, и это случилось там, за семью замками, в белых завьюженных сопках. И это светлое чувство всегда согревало меня и давало возможность дышать даже тогда, когда дышать было невозможно.

Здесь не будет стройного изложения по времени, ибо едва ли можно и нужно рассказывать все. Но здесь не будет и определенного сюжета. Это будут воспоминания о днях, проведенных на краю света. Немножко коснусь и самой дороги, приведшей на Колыму, – Таганской тюрьмы (на сегодня стертой с лица Москвы) и приволжского лагеря.

Еще раз спрашиваю себя – нужно ли писать, когда уже написан «Архипелаг

ГУЛАГ»? Но «Архипелаг ГУЛАГ» – не повесть и не роман, это – энциклопедия, это – монография. Я же буду говорить лишь о тех днях, о тех случаях, что запали в мою душу и запомнились.

Случаи разные.

НАЧАЛО

Когда человека жизнь выбрасывает в житейское море без груза вещей, без дома, в возрасте 17—18 лет, когда в голове одни мечты, которые реальная жизнь и не пытается осуществить, человек часто вступает в конфликт с обществом. Как правило, такие конфликты заканчиваются изоляцией от общества. Для этого всегда существовало огромное количество Указов. Одним из них был Указ от 4.06.47 «Об усилении борьбы с государственными и вольными хищениями», проще – воровством.

Человек, вынесший с фабрики катушку ниток, либо унесший со стройки никому не нужные остатки пиломатериалов (вязанку дров), мог угодить под этот Указ. В то время в деревянной Москве эта вязанка на одну топку стоила 10 рублей, а буханка хлеба на рынке 150—200 рублей (имеются в виду цены, существовавшие до 15 декабря 1947 г. – дня отмены карточек и начала денежной реформы). Попадались люди и за мелкое воровство. А сроки согласно Указу были огромными – от 5 до 25 лет.

Идут на север срока огромные,
Кого не спросишь – у всех Указ...
(из лагерной песни).

Вначале человек попадает в милицию, в КПЗ (камеру предварительного заключения). В этой камере (комнатушка 10—12 метров) * располагалось около 10 человек. Кто сидел на полу, кто стоял прислонясь к стенке. Держали в этой камере трое суток, до получения ордера на арест. Людям негде было умыться, переодеться, и даже в туалет водили всегда два раза в сутки, причем в КПЗ параша не было. Еды не полагалось. Когда водили к следователю на допрос, то следователь давал попить воды.

– -* Здесь и далее автор описывает только то, с чем лично пришлось встретиться. Возможно, в других отделениях милиции было иначе.

Запомнила в его кабинете огромного пса (овчарку).

Каждый надеялся, что прокурор ордер на арест не подпишет, так как его-то дело и яйца выеденного не стоит: подумаешь, катушка ниток или подруга у подруги в общежитии трусы стырила и сама же призналась, а подруга не простила и написала не нее заявление в милицию... Я лично в том КПЗ не запомнила каких-то настоящих жуликов. Там сидели в основном случайные люди, как я потом узнавала из воровского жаргона – ффраера.

Но прокурор подписывал все, как правило, не вникая в подробности жизни провинившегося; и на третий день всю братию грузили в «воронки» и везли в тюрьму, знаменитую Таганку. Странное это ощущение, когда после трех суток грязи, вони ты едешь по городу в «воронке». «Воронки» закрыты со всех сторон, лишь сзади дверь из железных прутьев, а за ней еще «предбанничек», где сидят двое солдат. Но по какому-то неуловимому запаху свежести, что проникает в машину, по шуму дождя, что колотит по крыше машины, ты узнаешь вокруг твоего замкнутого мира волю. Москву с ее вечерними огнями, людей, которые там, за твоим мирком, у которых есть дом и тепло.

ТЮРЕМНЫЙ БЫТ

И вот мы в тюрьме, едва ли я смогу ее описать полностью: помню одни ворота, другие, которые закрывались со скрежетом. Потом нас завели в здание, коридоры без окон, в одной из дверей конторка – здесь на тебя заполняют формуляр. Ты должен отвечать: каким отделением милиции арестован, в чем обвиняешься, называть фамилию, имя, отчество. После этой процедуры всех заводят в отдельные боксы. Это помещение не больше 0,5 м², без окон, высота метра два; в двери, которая за тобой моментально закрывается, небольшой глазок. Напротив у стены небольшая скамеечка, присесть можно двоим. Если стоять, то в боксе помещаются трое. Человек, попавший впервые, так как ему ничего не разъясняют, может и с ума сойти. Я, например, находилась одна в боксе около часа (за это время у меня были мысли, что, возможно, здесь придется пробыть не один день), но через час ко мне посадили девчонку, бывавшую уже здесь. Она мне и рассказала, что в боксах долго не держат, после боксов – обыск. Обыск производится в отдельной комнате, где человек раздевается полностью, в голом виде его заставляют присесть, встать и т. д. Такая методика обыска исключает возможность что-либо запрещенное пронести с собой. Однако это совершенно не мешает в камерах иметь все – от иголки до топора. И все это передает сама ВОХРА (военизированная охрана). Но прежде чем попасть в камеру – баня. Это жиденький чуть тепленький душ, где под одну душевую наталкивают по три-четыре человека. Прежде чем попасть в душ, надо сдать белье в прожарку: раздевшись в предбаннике, ты проходишь через холодный коридорчик, где за стойкой открытого окна стоят почему-то мужчины. Они принимают у тебя твое белье на железном обруче. Мужчины – из заключенных (ЗК), успевающие за эти короткие мгновения отпустить не одну соленую шутку. Особенно это мучительно для впервые попавших туда девушек.

Совершенно не помню, где нам удавалось стирать (ведь все отдавалось в прожарку), возможно, в краткие минуты, когда два раза в день водили на opravку. По тюремным коридорам с великолепным звуком неся крик: «На opravку», слышавшийся впервые как «на-правку». Видимо, там и стирали, потому что отчетливо помню, как стоя в камере, махала юбкой в течение часа-полуторых, чтобы она высохла. И так было не однажды.

И вот, наконец, ты в камере, хотя первая камера – карантин. В 1948 году это была полутемная камера с деревянными редкозубыми матами на полу. Ни подушек, ни одеял. Еда два раза в сутки: баланда, кусок хлеба и чай наподобие ополосков. В карантине мы пробыли не меньше недели, и только после этого всех развели по настоящим камерам.

И если вся предыдущая процедура не предусматривает отделения малолеток от взрослого населения тюрьмы, то после того, как пройден карантин, проводится рассортировка по возрасту. Тут следует отметить, что судилась я по чужим документам: Федотова Михайла Дмитриевна, 1931 года рождения (так закончилась моя неудачная поездка в Москву, но об этом как-нибудь в другой раз). Так вот, по этим документам я была на 4 года моложе своих лет (ноябрь 1931 года) и потому попала к малолеткам.

Наслушавшись в карантине самых что ни на есть жутких историй о различных мастях в тюрьме – воры, суки, фраера – и уяснив, что я самая настоящая фраерша, я, конечно, немножко боялась встречи с настоящими ворами. Однако «не так страшен черт, как его малюют».

И когда меня завели в камеру (а для малолеток камеры были приличные: 4 железные койки, прикованные к стене, напротив двери, у окна, находящегося под потолком, стол, в левом углу у двери – параша), то я увидела трех милостивых девчушек, и трусость с моей души спала. Никто не кидал мне под ноги белую простыню, по которой, по рассказням, надо было идти, невзирая ни на что, и этим утверждать свое право на нормальное существование, если в тюремных условиях это существование может быть нормальным. Никто не накидывался на меня

с кулаками. На вид девчонки были самыми нормальными, они занимали три лучших места, место у параша было пустым. И я его заняла. Однако уже через пару дней меня переселили на более удобное место, а к параше отселили девочку, лежавшую в правом углу от двери. Дело в том, что я успела многое рассказать – я знала наизусть массу стихов, почти полностью пьесу Э. Ростана «Сирано де Бержерак» в переводе В. Соловьева, сама немного писала. В свое время прочла много книг по истории театра – и все это было интересно девчонкам. Поэтому мне и предоставили более удобное место.

Хотя эти девочки были настоящими «воровайками» (они «бегали» по Москве, вытаскивали деньги из кошельков и карманов, то есть были так называемыми «щипачками»), вели они себя со мной нормально и даже не предлагали свои истертые кофточки сменять («махнуть») на мою, почти новенькую. Обычно это делалось так: подходит к тебе воровка в законе, небрежно берет двумя пальчиками тебя за кофту ли, юбку ли, одним словом – понравившуюся ей вещь, и небрежно говорит: «Махнем, что ли?» Тебе, безусловно, надо сразу же соглашаться. Это я видела впоследствии собственными глазами не однажды. Однако мне этого никто не предлагал. Просто эти люди уважали знание, а я в то время была, безусловно, «образованнее» их, хотя за плечами у меня было всего 7 классов да два курса техникума. Правда, еще шестимесячные курсы учителей и год театральной вечерней студии. Была такая в Москве на Красной Пресне. Располагалась в пустующем здании клуба – театра им. Ленина; руководила студией одна из выпускниц последнего выпуска К. С. Станиславского Лидия Павловна Новицкая. Но об этом в другой раз и не здесь.

Единственная привилегия – когда подавали пайки, – забирать себе горбушку. Причем они никогда не унижались до того, чтобы подходить к кормушке. Кормушка – это такое квадратное окошечко в двери, открывается со стороны коридора надзирателем, откидывается, и получается такой маленький прилабочек. На него и подают обед. Обычно обед получала девчонка, спавшая у параша, это была их «шестерка» («шестерка» – это как бы прислуга воров в законе). Но она хоть и последняя спица в колеснице, а перед фраерами фасон держит. Кормили малолеток лучше, чем взрослых. Утром давали сахар (один кусочек), хлебушек, кусочек селедочки и мутную жидкость – чай (правда, сейчас тюремный чай распространился и на общепит). Днем обед: баланда, хлебушек и пойло, называемое «кофе» (очень жиденький кофейный напиток). Тут следует пояснить, что такое баланда: это похлебка, сваренная из кильки, темно-зеленых листьев капусты и какой-нибудь простой крупы. На ужин – каша, хлеб и чай. Во время ужина мы «пекли пирожки»: намазывали кашу на хлеб и запивали чаем. Я и сейчас люблю так поужинать.

И в малолетках, и во взрослых камерах шел непрерывный мен: меняли хлеб, сахар на нитки (нитки получали либо из труссов, либо из чулок). В связи с этим помню, как на пересылке в знаменитом Ванинском порту я наменяла цветных ниток и вышила салфетку: корзину, а в ней фрукты (причем тогда я еще не знала такой ягоды-алычи, но у меня она получилась, как живая). Когда я эту салфетку выстирала и вывесила на недостроенный барак, а сама, повернувшись спиной к своему сокровищу, смотрела на синее-синее небо, то не заметила, как у меня ее украли. Хотя обернулась я буквально через 5 минут.

Но это все безобидные обмены. Гораздо хуже было курякам, они ради курава отдавали все, даже свои пайки хлеба – и это один из способов приобретения туберкулеза в тюрьме. Второй способ приобретения туберкулеза – ШИЗО (штрафной изолятор). Он, как правило, представляет цементированное подвальное помещение, один раз в день дают воду и немного хлеба. Но самое страшное, что эти помещения имеют постоянную температуру 11—13 градусов максимум, фактически несовместимую с нормальным функционированием организма. Причем ШИЗО можно схлопотать за все: на прогулке не так посмотрел на конвоира, у тебя зачесалось за ухом, и ты на минутку вынул руки из-за спины и т. д., и т. п.

НОВЫЙ ГОД В КАМЕРЕ

Меня всегда интересовало – кто же идет служить в эти казематы? И только много позднее я поняла, что по существу человек не выбирает себе жизнь, ее во многом формируют не только внешние обстоятельства, но и место рождения и изначальное материальное положение и еще многое-многое другое. В надзиратели попадают, попадают так же, как попадают в тюрьму или на сцену, вообще на одно из мест, в одну из жизненных ячеек.

Новый 1949 год я встретила в Таганской тюрьме. И не надо думать, что Новый год в тюрьме для меня был меньшим таинством, чем на свободе. Есть вещи, которые нельзя отнять (поэтому человек и выживает в любых, кажется, невыносимых условиях). В тюрьме отбой в 10 (или в 11 вечера, не помню точно). Но в Новый год никто на это не обращает внимания. Надо сказать, что в Таганке (не знаю – стандарт ли это для тюрем?) тюремные корпуса образовывали замкнутый четырехугольник. В этот замкнутый четырехугольник и выходили все окна камер, здесь же были прогулочные дворiki, имевшие вышки и охрану. Казалось, для чего бы? Но умные стражи предусмотрели все: а вдруг ЗК захотят переговариваться через окна – не положено*.

– -*) Лично я не помню намордников на окнах тюрьмы (сейчас они везде – это ребристые железные жалюзи, схваченные намертво). Возможно, это просто мое умение и в щелочке видеть все небо.

В 12 часов ночи воры шли на решку* (кстати, за решку можно было схлопотать не только карцер, но и пулю в лоб), но, конечно, никто не верил, что конвоиры будут стрелять.

_____*) Решетка на окне камеры.

Они ведь такие же люди, и тоже зачастую не по своей воле служат вертухаями. Так вот, воры шли на решку: они становились на стол (решка-то с крохотным окошком была под потолком) и кричали: «С Новым годом, люди! С Новым годом!» И сотни тюремных окон отвечали радостным гулом. Вор ведь еще иначе зовется Человек. Тогда я тоже пошла на решку и крикнула: «С Новым годом, фраера! С Новым годом!» И тюрьма мне тоже ответила многоголосым гулом. И таинство прихода Нового года свершилось.

СУМАСШЕСТВИЕ

В тюрьме все с нетерпением ждут обвинительного заключения, ибо потом суд, на который большая надежда – а вдруг освободят. Идут рассказы сотен историй, когда это случилось. Возможно, это только фантазии, но когда хочется верить – так немного надо. Именно получив обвинительное заключение, я была переведена во взрослую камеру. После камеры малолеток это резкое ухудшение твоего положения. Я была, правда, не в очень большой камере, но здесь также одна крохотная решка, по обеим сторонам камеры – нары. Нары – двухэтажные четырехместные вагонки. Таких нар было всего 8, камера на 32 человека. Стола не было, ели каждый на своих местах. Целый день в камере дым стоял коромыслом. Верхние места занимали привилегированные члены тюремного общества – воры, внизу размещались ффраера. Здесь так же, как и в камерах малолеток, дня через два после моих рассказов о театре и поэзии меня поместили на нижних нарах ближе к окну (здесь и днем доставалось сколько-то дневного света). Электрический же – тусклая лампочка под потолком – круглосуточно. Из этой камеры я уезжала на суд, сюда же возвратилась со сроком 6 лет, по тем временам, такой срок считался детским*).

– *) Указ от 4.06.47, по которому меня судили, предусматривал сроки от 5 до 25 лет; да и другие статьи предусматривали огромные сроки...

Хотя ты в тюрьме и живешь с чувством вины, твой маленький проступок не соизмерим с тем злом, которое наносит человеку в отдельности и человечеству в целом эта гнусная тюремная система (система, где культивируются все пороки), и именно поэтому ты не можешь и не хочешь согласиться с тем, что 6 долгих лет ты будешь постоянно ходить под конвоем. Ты еще не знаешь, что тебя ждет, какой лагерь (а в лагере начальник – хозяин, а хозяин – барин), но ты все время прокручиваешь в уме свое освобождение раньше срока. Тут и мысли об амнистии, и желание отыскать эту амнистию в коротких газетных строках. А газеты в камеру попадают с передачей, очень редкой, потому что в камере больше тех, кому некому принести передачу, родные зачастую даже не знают, где ты находишься.

И еще в тюрьме очень много разговоров про институт Сербского, ибо если ты сошел с ума, если ты невменяем, то и срок тебе не положен. Правда, все это идет на уровне разговоров, рассказней. Причем никто даже и намеком не говорит о том, что признанные невменяемыми на свободу не отпускаются, а помещаются на неопределенный срок в психолечебницу, откуда они выходят лишь по решению суда. И это куда страшнее любой тюрьмы, лагеря и срока. Там же рассказы имеют приблизительно такой сюжет: такая-то или такой-то прикинулись сумасшедшими, их направили в институт, а там пол в гвоздях (или еще что-нибудь того краше) – и этот прикинувшийся пошел прямо по гвоздям – все, свобода обеспечена. Все это вообще лишено какого-либо смысла, тут полное невежество в вопросах психиатрии, но таково уж страстное желание освободиться, вот и рождается в умах такая нехитрая схема.

И вот в один прекрасный (или, наоборот, не прекрасный) момент меня, уже осужденную и ждущую этапа, вызывает следователь и говорит такие сладкие речи: ты, дескать, комсомолка (хотя мне так и не привелось быть в комсомоле), по твоему виду видно, что ты порядочный человек и т. д. и т. п. Так вот, надо сидеть в камере и запоминать кто что будет говорить, а потом передавать мне. Ты ведь понимаешь, что не все такие хорошие, как ты, а есть и настоящие преступники...

Таких людей звали «наседками», и если их раскрывали, то пощады не было. Избивали до полусмерти. Следователь же меня не торопил с ответом, но обещал вызвать дня через два три или же предлагал на поверке попроситься к врачу. Ушла я от него совершенно подавлен-

ная. Чувство самосохранения не позволило сразу же сказать «нет», но и «да» я не сказала. И вот почти целые сутки мучилась: как я должна ему отказать, в какой форме. В том, что нельзя соглашаться, сомнений не было, но как?!

И тут мне пришла на ум прекрасная идея: сойти с ума и сразу избавиться и от этого гнусного следователя и вообще от тюрьмы. Еще сутки я обдумывала план сумасшествия. И вот на третьи сутки, после утреннего крика «на поверку» я не встала.

Поверка проводилась по камерам. Сначала раздавался оглушительный крик по коридорам: «Поверка!», потом скрежет открываемой двери, и вся камера уже выстроилась по обе стороны нар, входит надзиратель, и начинается переключка. Теперь ты всегда отвечаешь не только имя, фамилию и отчество, но и каким судом осужден, по какой статье, срок. Я же нагло лежу и не встаю. И когда надзиратель приблизился ко мне я стала говорить: «На репетицию, я опаздываю, на репетицию». Такой вариант был для меня наиболее приемлем и не требовал каких-то особых умственных усилий.

Продолжалось это часа два, причем все боялись ко мне подойти: а вдруг я и вправду сумасшедшая и могу черт те что сделать. У меня же от перевозбуждения поднялась температура до 38^о. Часа через два мне пообещали действительно отвести меня на репетицию, причем врачи пришли без халатов – боялись меня спугнуть – и мне даже дали какую-то машину и обманным путем, как считали они, отвезли меня в наружный двор тюрьмы, где и помещалась тюремная больница.

Очень вежливо мне сказали, что вот и театр и надо выходить. Я вышла и молча прошла в коридор. На первом этаже стали спрашивать мою фамилию, но я снова изредка лишь повторяла: «На репетицию» – и молча делала все, что меня просили. Здесь впервые за все время нахождения в тюрьме я увидела большую чистую ванну и с облегчением ее приняла.

На втором этаже меня поместили в палату. Палата была узкая, на 4 койки, которые стояли параллельно окну и двери, находившихся друг против друга. На койке у окна лежала женщина интеллигентного вида. Две другие были пусты. Мне предложили лечь на первую койку от двери, вероятно, для того, чтобы няне (она беспрестанно сновала по коридору) легче было за мной наблюдать. Я легла. Меня фактически оставили в покое. Я молчала, боясь разговаривать с женщиной и тем выдать себя. Когда же приходила няня и приносила еду (еда была не в пример лучше камерной), я не забывала два-три раза повторить: «На репетицию». Изредка повторяла это и между едой. В этот день меня не беспокоили. Когда наступила ночь, а свет в тюремной больнице, как и во всей тюрьме не гасился, женщина, которая лежала здесь до меня, сказала:

– Девочка! Зачем ты притворяешься? Я ведь врач, правда, гинеколог, сижу за аборт (в то время аборт были запрещены, и врачи, производившие их «подпольно», не по медицинским показаниям, несли уголовную ответственность. – Л. Р.) ... Тебя по глазам видно – никакая ты не сумасшедшая, у них зрачки не такие.

Я на всякий случай молчала. Но когда через день в больницу приехали психиатры из института Сербского, вызвали меня в кабинет и спросили имя и фамилию, то я, расплакавшись, им конечно же сказала и имя, и фамилию, и за что сижу. Они поговорили со мной приблизительно с час, записали – невращения и, видимо, назначили общеукрепляющее лечение. После их визита я пробыла в больничке еще дней 10—12, меня никто не трогал. Я получала нормальную еду, в окно падал нормальный дневной свет, кроме этой женщины, никто в это время в палате не лежал. Перед выпиской я еще раз приняла ванну и вернулась с свою камеру, половина контингента там сменилась (кто-то ушел на этап, кто-то был переведен в другую тюрьму или камеру). Больше меня никакой следователь не вызывал. И буквально через пару дней я была переведена в Краснопресненскую пересылку.

ПЕРЕСЫЛЬНАЯ ТЮРЬМА

Поистине, все познается в сравнении. Когда я попала в пересыльную камеру, то поняла, что в Таганке-то было хорошо. Если там были нары вагонного типа, то здесь сплошные нары по обе половины камеры. В камере стоял сизый дым от курева и гул голосов. Все места были заняты. Я примостилась на пол (полы цементные). Параша стояла, как и везде, около двери. Но в этой камере было не меньше полусотни, если не больше, людей – и параша была почти всегда полной. Никогда не забуду, как в то время, когда мы ели баланду, одна из сокамерниц сидела на параше – у нее был понос. Кстати о баланде: суп из темно-зеленых листьев капусты, крупы и рыбы; такой суп начинаешь есть не раньше чем на третий-четвертый день, вначале не можешь – тошнит. После прибытия главные люди камеры – воры – стали нас допрашивать, за что сидим: статья, срок. И, когда я, разговорившись, как и везде, начала читать стихи, рассказывать о театре, мне тут же предоставили место наверху. Обычно там спят только воры. Правда, дважды я уступала это место очень больным старухам. Но воры вновь теснились и пускали меня. Очень уж им нравились мои рассказы.

В отличие от Таганки Краснопресненская пересылка кишела клопами. Они прямо гирляндами свисали с потолка и прыгали на спящих. Но человек привыкает ко всему, и уже на третий день их просто не замечает. Так, то, с чем нельзя бороться, можно просто не замечать и этим спасти себя, свою душу. Я совершенно не запомнила: водили ли нас гулять в пересылке. Возможно, там я пробыла совсем недолго. Этапы же были ежедневными. Еще одна деталь. Людей в камере набито столько, что спали все на боку, затем дружно переворачивались на другой бок. Спать как-то иначе было просто невозможно. Может быть, после этого я и привыкла спать на спине, когда можно занимать столько места, сколько тебе нужно.

ЭТАП И ЛАГЕРЬ

На этап вызвали, как всегда, неожиданно. Это было серым январским морозным утром. Почему-то запомнились ворота, они открываются, от них до станции (видимо, товарной) не более 100 метров. Эти метры по обеим сторонам заставлены солдатами с овчарками. Овчарки пританцовывают на месте, рвутся с поводков, высунув языки, и как-то глухо урчат. И только команда: «Быстрее! Быстрее!» Нас пропускают по одному. К телячьим вагонам сделаны деревянные трапы. Пробегаешь и буквально мигом заскакиваешь в вагон. В вагоне у входа тоже стоит солдат и пересчитывает входящих. Нас было набито много. Сколько – не могу сказать, но лежать там было негде, да и нельзя. Холодно. Очень холодно. Я, например, угодила в тюрьму в сентябре, а этап уходил в самые холода. На пересылке выдали телогрейку 33-го срока и ботинки кирзовые, такие же рваные и грубые. Что-то из своего тряпья намотала вместо портянок. В вагоне мы стояли, прислонясь друг другу. Везли нас до Щербакова, бывшего Рыбинска, а оттуда уже лагерь. Ехали больше суток, но сколько точно – не запомнила.

И вот лагерь. Недалеко от Волги, на ее крутом берегу, в полустепной местности, где-то далеко был лес. Стоят бараки, окруженные двумя рядами колючей проволоки, между ними – нейтральная полоса, где носятся овчарки. По проволоке пропущен электрический ток. После тесных камер-клоповников, полутьмы и смрада это уже не так страшно. Это уже запах свободы, он – в разлитых над тобой рассветах и закатах, которые нельзя отнять.

Ночь плывет, и до самой зари,
Нет, позднее еще – до рассвета
Освещают ее фонари
Электрическим матовым светом.

А когда загорается день
В Щербаковском далеком селеньи,
Убегают, как легкая тень,
Все печали,
Мечты и сомненья.

Гаснет вечер, и скоро погасят
Свет в бараке – и станет мне страшно...
Фонари до рассвета маячат,
Время мчится. Целую всех.
Маша.

Именно освещенная фонарями ночная зона производит фантастическое впечатление. Смесь чего-то сказочного и ирреального. Днем все иначе. В этой зоне я пробыла два года до того момента, когда сама выпросилась на этап, думая, что попаду поближе к дому, Уралу... А этап-то шел на Колыму, через знаменитый Ванинский порт.

ЗОНА

Зона представляла собой одну длинную улицу с двумя ровными рядами бараков, зимой это было довольно унылое зрелище. Летом же все преображалось. Не помню, к сожалению, имени и фамилии женщины-ботаника, сидевшей с нами, но именно ее трудами зона летом была превращена в цветник. Один конец этой улицы начинался вахтой, другой ее конец упирался в два или три барака, стоявших перпендикулярно к ней. В одном из этих бараков я и жила, в другом размещалась санчасть. При санчасти медицинской сестрой работала венгерка Елизавета (почему-то все считали ее королевой Венгрии). Это была крупная женщина с копной черных, разлетающихся в разные стороны волос, с крупными чертами лица. Всегда она рассказывала что-нибудь интересное, дружила с Магдой, руководителем художественной самодеятельности. Я тоже занималась в самодеятельности: читала и танцевала. Столовая и клуб размещались по разные стороны лагерной улицы, столовая – ближе к концу, клуб тяготел к началу, ибо рядом с вахтой располагалась культурно-воспитательная часть (КВЧ).

Подъем в 6 утра, личная гигиена, завтрак, поверка и развод. Завтрак состоял из небольшой порции жиденькой каши, хлеба и жиденького же кофейного напитка. В то время так называемых отрядов, которые существуют в зонах сейчас, не было. В бригады люди собирались по месту работы. Люди строились по бригадам у вахты, и тут же проходила поверка. Затем колонны выводили на работу (обычно по четыре в ряду) в сопровождении конвоя.

Обед привозили на работу всем совершенно одинаковый, несмотря на то, была это пошивочная фабрика или завод. Состоял он из небольшого куса овсяной запеканки на воде, сверху смазанной подсолнечным маслом, и куса хлеба. Изюм в день обед был только таким, перерыв был недолгим, и надо было успеть обед раздать всем – поглощали эту еду быстро, на ходу. И всегда эта овсяная запеканка казалась мне очень вкусной. После того, как приводили в зону, снова была поверка, хотя конвоиры проверяли и при выводе с фабрики или завода. В зоне ждал ужин, как и везде в лагерях, он зависел от нормы выработки. Если выработка превышала норму, то хлеба давали в два раза больше. На ужин уже было три блюда: баланда, каша и снова кофейный напиток.

Работали в то время не 8 часов, а 10, расценки были мизерными, вычитали за все. Если что-то оставалось, то шло на лицевой счет. Раз в месяц с него можно было снять от 50 до 100 рублей (масштаб цен старый, до деноминации 1961 года) на тюремный ларек. Обычная продукция ларька: конфеты-подушечки, килька, хлеб, махорка, папиросы. Накопить какую-то реальную сумму на освобождение было невозможно даже за много лет. На свободное время до отбоя оставалось часа два. Можно было взять книги в библиотеке КВЧ – журналы, газеты. Здесь же выдавались письма и квитанции на получение посылок и переводов. Сами же посылки выдавались на вахте, деньги шли на лицевой счет. Как я уже упоминала, был в зоне и клуб, в самодеятельности которого я активно участвовала. Таким образом, времени абсолютно не оставалось. И когда наступал отбой, то мы просто проваливались в сон.

Вначале меня определили на завод, в абразивный цех. Там делали бочонки для заточки кос. Для того, чтобы справиться с двухтонным прессом, мне приходилось становиться на ящик (рост у меня маленький). Бочонки надо было ставить под пресс, разворачивать ручку и запрессовывать абразивный материал с листа в форму. После чего целый лист (противень) этих бочонков надо было ставить на прожарку (закаливание) в печь, причем делать все надо было быстро. Я никак не успевала сделать норму. Правда, месяца через два она у меня получалась уже через день, но до этого я все время просила, чтобы меня перевели на другую работу. А так как в лагере, как и везде, бюрократия не торопится, то когда я наконец-то стала выполнять норму, меня перевели на швейную фабрику.

Фабрика шила рабочую одежду, и меня поставили стричь нитки от рукавиц. Рукавицы на конвейере шли сплошным потоком, и тем, кто их шил, не было никакой возможности перерезать нити. Я сидела на полу в темном углу и старательно их резала, но опять у меня никак не выходило нормы. И не потому, что она была невыполнимой, просто по складу характера я человек, не приспособленный к монотонной однообразной работе. Мне было неуютно, тоскливо, я все время вот-вот готова была заснуть... Но вот месяца через полтора после моего прихода на фабрику в закройном цехе заболела настильщица полотен. Кем заменить? Кого послать? Конечно же, самого плохого работника. Послали меня.

Представьте большой длинный стол, у одного его края стоит резчик, у его ног лежит рулон ткани (неважно какой), он быстрым движением одной руки разматывает рулон и один его конец кидает мне – настильщице. Я должна его взять, пробежать вдоль стола и уложить ровно по отмеченной мелом линии. Как только я его укладываю, резчик резким взмахом ножа отсекает материал по своей кромке стола. После чего я бегу назад, на ходу ровняя боковой край ткани. В зависимости от того, на что шел настил, стелилось разное число слоев. Милестина на телогрейки стелилось больше, чем подбортовки, и т. д. После чего последнее полотно настилалось не от куска рулона, а отдельно. Она было заранее заготовлено раскладчиком (на куске материи раскладывались картонные детали выкройки и обмеловывались). После этого резчик включал электрический нож, установленный вертикально, и разрезал весь настеленный материал на крой. Важно было настелить и разрезать так, чтобы первый и последний слой не отличались друг от друга. Допуск разрешался 1—1,5 мм. В то время, когда резчик работал, я отдыхала. Правда, на это уходило не более минуты. Эта работа была по мне. И в первый же день я выполнила норму на 150%. Больше меня никуда уже не переводили, я так и осталась в закройном цеху до самого последнего дня, когда ушла этапом на Колыму.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.